

Людмила МИТРОХИНА (г.Санкт-Петербург) **ЮЛИЧКА**



Беда пришла к Юличке невзначай — дома на ровном месте она рухнула на пол, как срубленное дерево и потеряла сознание. А придя в себя, преодолевая острую боль в бедре, как большая раненая птица, крича и царапаясь, стала подползать к входным дверям. В голове билась только одна мысль — сын вышел из дома без ключей, надо открыть двери, чтобы не ломать их. Соседи, услышав крик, вызвали милицию. Одновременно подошёл сын. Выбили двери. Вызвали скорую. А когда врачи увозили Юличку в больницу, сын сунул им материнский паспорт и тихо сказал, что он неизлечимо болен и к матери ходить не будет.

После этого он позвонил мне и спокойно извещил, что мать не жилец, в Александровской больнице, а самое главное, если выживет, ни в коем случае не привозить её домой: «Некому тут ходить за ней». Услышав это, мне показалось, что я оглохла как от резкого звука медной трубы, приставленной к уху, на которой он когда-то громко разминался дома перед халтурами на свадьбах и похоронах.

Мой номер телефона отпечатался в памяти Юлички намертво. Всех проходящих мимо неё в больнице она хватала за одежды, требуя позвонить по этому номеру. Она знала — наверняка оттуда придёт помощь. И была права. Сына не ждала, более того, боялась стать ему обузой, упорно веря в то, что она выберется из очередной беды и опять будет ему необходима.

Прошёл год. С великими мытарствами я перевезла лежачую Юличку в павловский дом ветеранов войны сразу после смерти её спившегося сына, который так и не починил

выбитую входную дверь. По воле случая и по Юлиному желанию, я неожиданно оказалась её доверенным лицом. Девять лет я выполняла то, что должны были выполнять для неё близкие — заботиться. Близкие делали то, что должны были выполнять хорошие знакомые — общаться. При этом они не отказывались от Юлиной нарастающей благодарности в денежном выражении, в которой теплилась надежда на возвращение в собственную долгожданную отдельную двухкомнатную квартиру, выстроенную, вернее выстраданную ею под конец жизни для себя и сына, для которой она годами гробила себя сверхурочной бухгалтерской работой, устало таская ворохи ненавистных отчётов в коммуналку, где они ранее жили в одном доме со мной.

И вот звонок из дома ветеранов. Умерла Юличка, она же Юлия Георгиевна Розова, девяноста семи лет. В свой последний день рождения месяц тому назад она ещё могла, извернувшись своим скукоженным тельцем, присесть на высокий металлический край необъятной интернатовской кровати, опершись на руку, чтобы свободной рукой обшаривать тумбочку в поисках завалявшегося печенья или конфетки. Помню в тот день как, войдя к ней в палату, я увидела Юличку, деловито простукивающую ладошкой тумбочку. Её единственный к тому времени голубоватый настороженный

глаз сразу повернулся в мою сторону не видя меня, так как реагировал только на свет и тень. «Кто там?!» —

сказала она голосом Галчонка из мультфильма «Трое из Простоквашино». «Это я, почтальон Печкин!» — трижды прокричала я ей в ухо, вызывая радостный вопль: «Милочка пришла!» В этот момент принесли обед, но Юличка знала, что я не с пустыми руками и с вызовом скомандовала: «Собакам!» В последний год она стала быстро глухнуть — приходилось с каждым разом кричать всё громче и громче, что вполне устраивало двух соседок — из-за скудности впечатлений и жизненных событий. Чтобы не пугать Юличку когда она спала, свой приход я обозначала ласковым поглаживанием, по которому она меня узнавала. Я подарила ей мягкую игрушку-собачку для ощущения, пусть игрушечного, но всё же тепла её бывших любимцев. Юличка ликовала как ребёнок, смеясь от восторга, ласкала и целовала собачку, определяя на ощупь, где у него хвостик, где уши, а где мордочка. Теперь она оставалась не одинокой на своей необъятной для неё кровати —

преданный дружок лежал у подушки, охраняя её суверенный покой.

Юличку я уже воспринимала как малое дитя, приносила ей то, что она хотела и могла есть — детское питание в баночках, любимую красную икру, немного сливочного масла, наисвежайшую булочку, пакетики кофе с молоком и обязательно плитку шоколада. Она ела как птенец в гнезде, доверчиво открывая беззубый рот как клюв, куда я

периодически клала вкусненькое и осторожно влиwała чайной ложечкой тёплый кофеёк. Потом, удерживая её за спину, торопилась скормить протёртые фрукты и только потом давала самое желанное — кусочки шоколада, с которыми она в блаженном состоянии заваливалась на бочок, прося поднять её невесомые ноги и укрыть одеялом. Горка наломанного шоколада продлевала ей удовольствие и на следующий день. После моего ухода она прятала вожделенные кусочки под подушку, чтобы смаковать их в одиночестве, с тайным мстительным удовлетворением пачкая шоколадом всё вокруг себя слабой дрожащей рукой.

Через месяц после последнего дня рождения наступило резкое ухудшение. Девять дней Юличка погружалась в воронку небытия, сопротивлялась дыханию смерти, яростно размахивая цепкими руками, не принимая воды и пищи. Но судьбу не объедешь по кривой, не оттолкнёшь руками. Дома от каждого телефонного звонка я внутренне вздрагивала, предчувствуя печальное известие. На девятый день сопротивление было сломлено — Юлички не стало.

Войдя в её затихшую палату, я вспомнила, как она рьяно охраняла свои вещи словно сторожевая собака, пряча на груди рядом с простым крестиком ключик от крохотного замочка в шкафу, который я повесила для её спокойствия после длительного согласования с медперсоналом. Все у Юлички были вору. Она не верила никому. Да и в нас, окружающих её малочисленных родных и знакомых, подозревала корыстный интерес, выстраивая сценарий взаимоотношений в свою пользу, думая, что всё в её руках. Всевышние и заинтересованные лица знали, что это не так. Одни, подыгрывая ей, помогали облегчать её тощий кошелёк, другие, надеясь на большой куш, мечтали об её скорейшем отлёте в вечность.

В течение первых семи лет Юличка держала обслуживающий персонал в постоянном напряжении. С самого утра из её палаты раздавался громкий требовательный голос. Отказавшись от коляски, Юличка, сжав от боли рот, каждое утро вставала за ходунки и гордо ковыляла в холл на лечебную физкультуру. Почти во всём она была исключением из общих правил. Одно то, что после жестокого перелома бедра без операции, только благодаря невероятным усилиям воли, она встала с постели к ходункам и пошла, поразило даже медперсонал, повидавший немало на своём веку. Во время лечебной гимнастики Юличка задавала тон, делала едкие замечания, громко хохотала, кокетливо выделявая руками «кренделя», пытаясь грациозно повторять упражнения за медсестрой.

Её холерическая натура упорно сопротивлялась устоявшемуся режиму и казёнщине. Мир у Юлички состоял из белых и чёрных красок, люди были или превосходные или отвратительные. И эти краски могли меняться молниеносно в ту или иную сторону в зависимости от настроения. Бездействие для Юлички было не выносимо. Даже заведующая отделением, терпимая и доброжелательная женщина с налётом профессионального цинизма, выходила из себя из-за её громких театрализованных звонков в милицию, прокуратуру или в квартиру, где она ранее жила с сыном, которую снимали гастарбайтеры с разрешения, по словам Юлички, «незаконной собственницы-авантюристки, получившей завещание у нетрезвого сына за бутылку». Только угроза заведующей, что она переведёт её в ПНИ, где живут психи, могла её утихомирить на короткое время. Юличка решительно отвергала жестокую правду о свершившемся факте, направляя всю свою энергию на восстановление попранной справедливости. Только быстро слабеющая память притупляла острую боль, помогала забывать о страшной потере единственно любимого сына, позволяя жить только вспышками далёких воспоминаний о пережитой бурной молодости. К счастью, Юличка была великой фантазёркой — она до глубокой старости жила иллюзиями о будущей красивой жизни, упорно ожидая своё придуманное счастье, которое временами маячило ярким светом из огромного интернатовского окна.

Начались печальные хлопоты. Известие о кончине Юлички не вызвали у её старшей бездетной девятиностовосьмилетней слепой сестры Марии никаких эмоций. Глубокая старость довольно бодрой Марии охраняла её хрупкий организм от стрессов, которые Мария воспринимала за неизбежность, свершившуюся волю божью и счастливое путешествие в царствие небесное. Надо признать, что к судьбе своей сестры Мария была равнодушна всю жизнь. «Делай, что хочешь. Да и что я могу, кроме молитвы», — сказала мне Мария, переходя с улыбкой на интересующие её темы, касающиеся церкви и быта. Ах, знала бы Юличка, впервые встретившая меня, двенадцатилетнюю девочку, кормящую бездомных кошек на лестнице, что именно эта девочка и будет провожать её в последний путь в полном одиночестве.

Стоит холодный морозящий март. Картина ледяной земли, погружённой в слякоть многослойного серого снега, с чёрной ямой, наполненной жижой, наводила тоску и отторжение. Я представила как со стуком, а иначе не выйдет, опускают в это месиво Юличку, а с ней может быть и её ещё не отлетевшую душу, которой предстоит выкарабкаться из этого омута на небо, и решение созрело иное — кремировать и подхоронить к сыну на Охтинском кладбище.

Свидетельство о смерти получала в пушкинском ЗАГСе, расположенном в небольшом старинном особнячке. Сначала я вошла в парадные двери, где навстречу мне рванули аккорды «Свадебного марша» Мендельсона. Непривычно тихо стояли две пары и

малочисленные гости. Почему здесь, подумала я? Может быть это ошибка? Но мне подсказали, что это здесь, только с чёрного входа. Обежав здание, я вошла с другого крыльца, там увидела очередь из озабоченных лиц со скорбными или иными не очень радостными делами, которые входили в служебную комнату под отдалённо звучащий «Свадебный марш». «И жизнь, и слёзы, и любовь» жили как дружные сёстры под одной крышей. А Юличкины родители венчались во Владимирской церкви, вспомнила я. Теперь туда водят слепую Марию, которая много лет жертвует церкви блокадную пенсию, ни разу не протянув Юличке руку помощи в трудные времена.

Затем больница Семашко. Первая инстанция — «судебка». В судебке сидит немолодой мужчина со стеклянным выражением умных волчьих глаз, с отработанной невыразительной монотонной речью. Чистый стол. Сигарета в зубах. Голос робота. Вид загнанного в угол усталого хищного зверя. Он пронзает взглядом как рентгеном. Чётко видит, кто перед ним — бедняк, середняк, богач, скупой, безголовый, страдающий или равнодушный. Он — основная инстанция, определяющая что почём, куда и когда, чующий всю подноготную правду по отношению к покойному, наблюдая за деланными скорбными лицами или глубоко запрятанным тихим горем разных посетителей. И всегда попадает в точку! Неизвестно, как эта лавина мёртвых тел воздействует на него в этих страшных для живых залах морга, в которых он остаётся с ними сутками, как мы с коллегами на работе. Быть может, близость смерти делает его ум пронзительней и зорче.

Получив установку и разрешающие визы, направляюсь к агенту. Агент, он же санитар, потрясюще красив, силен и молод. От него, ещё не высосанного мертвечиной, веет здоровой неукротимой плотью, кипучей энергией, приправленной жаждой огромных денег, так как большие он уже имеет. Мне представляется, как женщины слетаются на него, словно мухи на мёд, награждая его вздохами и криками оргазма от желания сладкой жизни и благодарности за неё. Санитар уже не робеет — он гордится своей работой. Это даже престижно и внушает окружающим определённый страх и уважение перед его навыками в устойчивом бизнесе.

Интересно, как эти мужчины воспринимают своих жён, любовниц или родных? Представляю, как они смотрят на женщин, гладят, трогают, вдыхают запах живой кожи, а сами невольно, даже мучаясь от этого, видят их постаревшими, больными, а может быть подсознательно представляют их мёртвыми, привычно прикасаясь к их ещё желанному телу. Вероятно, они ищут забвения в тёплых и подвижных телах. Им надо подзарядиться энергией после многочасового пребывания вблизи холодной неподвижности. А забыться, я думаю, им очень трудно. С годами эти крутые мужики становятся внутренне теми же покойниками, с окаменевшими ледяными душами. Но есть и такие, кто чувствует себя на этом поприще как рыба в воде, не теряя чувства юмора и

аппетита. ... Наконец, всё оформила и можно выбраться из этих удушающих, с характерно-специфическим запахом, коридоров и комнат на свежий воздух. Завтра — прощание и отпевание в часовенке при больнице.

На прощание к Юличке я ехала одна. Перед глазами навязчиво стояла картина Перова — деревенская дорога, хилая лошадёнка с телегой и простым гробом, за которым сквозь снег и ветер плетутся двое сирот. Сын умер. Сестра слепа. Племянница стара, а её дети заняты. Внук давно отрёкся от Юлички и своего отца из-за незаживающих обид, нанесённых ему в отрочестве. Так получилось. Нам всем не хватает великодушия и времени для покаяния при жизни. Зато хорошо умеем каяться скопом в церкви после кончины тех, кого проклинали.

В часовенке должны были отпевать двоих — рабу божью Юлию и раба божьего Валерия. Когда мы вошли, то я сначала растерялась, увидев ещё два гроба вдоль стен. Мне показалось, что все усопшие на одно лицо, в одном возрасте, бесполое, как из инкубатора. Через некоторое мгновение поняла, что это из-за наложенного грима. Лица были гладкие в одной тональности — будто все группой недавно отдыхали на Канарах. Я стала судорожно искать свою — измученную, изуродованную потерей одного глаза, Юличку, ту Юличку, к которой уже привыкла, жалела и обнимала. Что-то внутри меня оборвалось. Мне показалось, что её здесь нет. Тогда я решила найти её по одежде, виднеющейся из-под одинаковых белых атласных покрывал. Всё это промелькнуло молниеносно. Конечно, я её узнала. И была потрясена! Передо мною, гордо подняв красивую голову, лежала необыкновенная женщина с волевым лицом, выразительным драматическим профилем, с сурово-сжатыми губами, с решительным, я бы даже сказала, вызывающим видом, как бы говорящим: «Вы меня не сломили. Никогда и никто. Ни в этом, и ни в том мире». Отсутствие правого глаза было совершенно не заметно. Юлина плоть олицетворяла её сильную и неукротимую натуру. Боже! Какая порода высветилась из этой почти истлевшей материи! Просто княгиня из «Пиковой дамы». Редкая метаморфоза смерти. Надо отдать должное мастерству того, кто работал над её лицом, подумала я, возлагая цветы.

А почему я удивляюсь? Сколько ей выпало в жизни — не перечесть! Совсем крохой на её глазах солдаты революции штыками вспарывали любимые мягкие игрушки в поисках зашитых бриллиантов. Четыре сестры, третья Юля, запомнили эту «казнь» на всю жизнь. С тех пор, видимо, у Юлички все чужие были воры. В молодости она была до одурения привлекательна и бесшабашна. После музыкального училища пела в кинотеатрах. Рано выскочила замуж. Рано овдовела — с первых дней войны. Остался только сын, которого она спасла, уехав из блокадного Ленинграда под страшный грохот бомбёжки. После войны надо было выжить с ребёнком, не надеясь ни на кого. Не зная толком финансовых дел, стала верным помощником по расчётно-кассовым делам

первого послевоенного коменданта города Ленинграда, который был полностью подчинён Юлиному обаянию. Статус вдовы Юличка не собиралась менять — это предоставляло льготы, а значит — помогало выживать. Блокадное удостоверение ей выдали только с третьей попытки. Попробовали бы не дать по негласному требованию самого коменданта! Мужчины играли в жизни Юлии строго очерченную роль — для дела, для поддержки, для кратких связей без обязательств. Любовь предназначалась только одному — сыну. «Террор любовью», как сказала Токарева, закончился для сына трагически — развод с любимой женой, которой Юля была недовольна, брак с другой по её настойчивому выбору, бегство от второй жены, потеря смысла жизни, протест против матери, сожительство с бомжихой, беспробудное пьянство и загадочная смерть. Юличка выстраивала мир под себя, под своё представление о счастье в нём, сметая с пути всех несогласных, в том числе и сына, ломая его жизнь, не ведая об этом. Она ненавидела войну — там могли убить сына. Она ненавидела любую власть — та могла отнять кровное. Она не верила никому — так было надёжнее.

Я стояла — крестилась, слушала молитву, но думала о разном, о живом, не о вечном. Батюшка был отменный — молодой, статный и упитанный с выразительными чертами лица, большими карими глазами, молниеносно оценивающими присутствующих, а по ним и всю прожитую упоённую жизнь. Гроб Юлии был поставлен чуть поодаль от гроба Валерия. Как я случайно узнала, ему было пятьдесят два года — попивал часто, а человек был добрый. Родные и близкие Валерия стояли скученной толпой по одну сторону. Я одна — по другую, возле Юлии. Батюшка спросил, а кто из родных от рабы божьей Юлии здесь. Я подняла руку, как в школе, и тихо сказала: «Я здесь. Одна. За всех». Батюшка внимательно посмотрел на меня, потом подошёл к Юличке и подвинул её каталку ближе к Валерию. Так было удобнее проводить службу, обходя их по кругу. Голос у батюшки был бархатный. Грудным баритоном он умиротворённо попевал

православные молитвы, из которых я на слух выделяла только имена рабы божьей Юлии и раба божьего Валерия. Имена других усопших батюшка не произносил. А зря. Я бы не возражала, а другие, может быть, и не заметили.

Мои мысли уносились в далекое прошлое. Вот, думаю, Юличка, тебя всегда любили молодые мужчины и ты их. Последний мужчина, к которому тянулась твоя женская недолюбившая душа, был уже в доме ветеранов, на лет двадцать моложе. Выждав удобный момент, Юличка кокетливо ковыляла к нему на ходунках, надев игриво шляпу с огромными полями, чтобы подключиться к беседе. Сумела-таки заморочить ему голову своей мечтой о совместном путешествии на белом пароходе в круизе по Средиземному морю. Потом ошарашила его своим безумным желанием жить с ним в своей квартире и умереть с ним в один день. Лукаво прибавив при этом, что всё ему отпишет загодя, если он распишется с ней. И сейчас судьба также не оставляет её без мужчины. Батюшка, не рассчитав усилий, к сожалению присутствующих придвинул Юличкину каталку так близко к Валерию, будто они вместе жили всю жизнь и вместе собираются перебраться

в иной мир.

Глаза, независимо от меня, продолжали фиксировать какие-то детали, вызывая неожиданные ассоциации. Обращаю внимание — чёрный гроб с тонкой красной каёмкой, в сторонке вижу — красный с тонкой чёрной каёмкой. Так это же тоже сочетание, два траурных варианта обложки книги, которые художник предложил поначалу сделать для моего друга! Что это? Необразованность или наваждение тёмных сил? И как эта его услужливая церковно-архивная мышь приняла это с чистым сердцем. Перевожу взгляд на лежащего Юлиного соседа и со страхом узнаю знакомые седые усы, да и лицо его стало до боли напоминать лицо моего плохо видящего мужа. «Фу ты, нечистая! — думаю я. — Это надо же, а ведь усопший, говорили, выпивал крепко, так же как мой сейчас от наплывающей слепоты». Муторно на душе. «Всё в руках божьих», — говорят. А что тогда в наших? Стою и считаю, сколько бед может свалиться на меня и хватит ли жизненных сил их преодолеть так же, как Юличке, не сдаваясь до последнего.

Отпевание закончилось. Батюшка призывает всех забрать цветы и оставить церкви, поставить горящие свечи в песок перед алтарём и начать прощаться. Под ногами у батюшки на маленьком коврикe замечаю молоток. Интересно, никаких звуков забивания гвоздей не слышно было перед нами. Стало понятно, что первых двух отпевали до нас и аккуратно положили в сторонке. Потом наших, за нашими других... А молотком стучать будут без нас. Не могу оторвать взгляда от молотка. Неожиданно замечаю, что кто-то из присутствующих приподнял покрывало над усопшим Валерием, мелькнули новые лаковые ботинки. А, проверяют, глупцы, одета ли дорогая обувь. Смешно! Так и вижу, как перед отправкой в крематорий, перед тем, как вот этим молоточком постучат по крышкам при закрытых дверях, от наших усопших экспроприируют приглянувшееся, в том числе и новые похоронные подушечки и покрывала, приобретённые в часовне, для дальнейшего безотходного оборотного производства. Мелькнула мысль — а у Юлички нет подштанников, забыла попросить. Она же в последнее время была в памперсах. Чуть какая-то в голове. Да ещё эта прибитая к гробу качающаяся клеёчатая бирка в ногах с реквизитами не даёт покоя. Когда в роддоме перед выпиской развернули моего сыночка, то на всю жизнь я запомнила вялую левую ручку с последствиями родового пареза, который от меня скрывали, и клеёчатую бирку на ножке с номером и именем ребёнка, грубо написанными химическим карандашом. С биркой рождаемся, с биркой уходим.

Стала прощаться, погладила последний раз Юличку по голове, попросила прощения за всё, передала поклоны от всех, кто незримо стоял за моей спиной. Полчаса показались целой жизнью. Я прощалась не только с Юличкой, я прощалась с ушедшей эпохой моих родителей моей многострадальной страны, в которой человеческое мужество было

нормой и неприметно как воздух, в которой мирские грехи и заблуждения были ничто по сравнению с выпавшими муками и горем, в которой материнская любовь была безусловной, единственно правильной жизненной установкой людей. А на нас грехи покруче — травим без зазрения совести всю планету, бросаем, убиваем детей и стариков, гоняемся за валютой по всему миру, не оставляя после себя надежды на счастливое будущее наших детей.

Пошла к вокзалу. Слякотно, промозгло, одиноко. Царское Село жило во мне дорогой памятью о многом. Вспомнила скульптора Лилию Швецкую. Надо же, сначала ушла Лилия, затем Юлия в одно время, в одном месте. В электричке, прижавшись к окну, тупо смотрела на мелькающие мерзкие городские строения вперемежку с грязными гаражами. Промелькнуло на пустыре тело большой умершей собаки. Заныло сердце. Собачья смерть — человеческая смерть... Вдруг слышу издали над головой: «Ваш билет!» Ничего не понимаю. Пауза в сознании. Лезу в сумку. Контролёр останавливает меня, с участием заглядывая в лицо, и говорит: «Не надо, не беспокойтесь. Я вижу, билет у вас есть. Извините». И отходит. До меня дошло, что меня пожалели. Я-то думала, что у меня всё внутри спрятано, только мысли бегают в голове как строки по монитору. А оказывается, что моё лицо — это маска скорби и печали. Горячие слёзы не прекращающимся потоком хлынули из глаз и заволокли солёным туманом серые будни холодной жизни.